



Российская Академия Наук

Отделение историко-филологических наук

В.М. Алпатов

**Образ Японии в России
(1850-1945)**

Москва 2017

УДК 94(520)
ББК 63.3(Япо)
О23

ISBN 978-5-906906-18-2

© Российская академия наук, 2017
© В.М. Алпатов, 2017

Образ Японии в России (1850-1945)

В.М. Алпатов

Тема, заявленная в названии статьи, неисчерпаема. За последние полтора столетия на русском языке публиковалось значительное количество книг и статей, посвященных Японии. Точек зрения и подходов, мнений и оценок специалистов и неспециалистов было очень много. Недаром одна из сравнительно недавних книг получила название «Сто первый взгляд на Японию» [Громковская, 1991]. На самом деле взглядов, конечно, значительно больше. Мы не можем ставить перед собой задачу в небольшой статье рассмотреть все эти взгляды, сходства и различия между ними (и тем более дать обзор существующих работ). Мы можем лишь выявить некоторые типичные мнения в отношении Японии в нашей стране, выделить тенденции изменения этих мнений в те или иные исторические эпохи. Из моря литературы мы старались выделить некоторые, на наш взгляд, представительные сочинения разных эпох; при этом учитываются и работы профессиональных специалистов по Японии, и публикации неспециалистов, особенно путевые очерки. Разумеется, всякие критерии отбора здесь субъективны, а что-то важное мы, вероятно, упустили из виду. Однако мы надеемся, что рисуемая нами картина содержит некоторую существенную информацию. Из-за недостатка места мы ограничимся лишь периодом до 1945 г.

Как известно, более двухсот лет Япония была закрытой страной, и об этой стране информация была крайне скудной. Отдельные контакты между русскими и японцами были лишь эпизодическими и надолго прерывались. Были целые периоды, когда таких контактов практически не было, например, 1815–1850 гг. Когда же в 1850 г. было отправлено первое после многолетнего перерыва письмо японским властям, оно «было переведено на китайский язык ввиду отсутствия знатоков японского языка» [Файнберг, 1959: 254].

Первым из классиков русской литературы посетил Японию Иван Александрович Гончаров. Он участвовал в качестве секретаря адмирала Е.В. Путятина в русском посольстве в Японию и в 1853–1854 гг. несколько месяцев провел в Нагасаки (никуда более посольство не пустили). Его много раз издававшиеся путевые записки фиксируют то небольшое, что Гончарову удалось увидеть в Японии в последние месяцы перед насильственным открытием страны для европейцев и американцев.

Взгляд писателя на Японию – взгляд на совершенно неизвестную и непонятную «варварскую» страну, еще не тронутую цивилизацией. Только подплывая к берегам Японии, он рассуждает: «Вот этот запертой ларец с потерянным ключом, страна, в которую заглядывали, до сих пор с тщетными усилиями, склонить и золотом, и оружием, и хитрой политикой на знакомство. Вот многочисленная кучка человеческого семейства, которая давно убегает от ферулы цивилизации, осмеливаясь жить своим умом, своими уставами, которая упрямо отвергает дружбу, религию и торговлю чужеземцев, смеется над нашими попытками просветить ее, и внутренние, произвольные законы своего муравейника противопоставит и естественному, и народному, и всяким европейским правам, и всякой неправде» [Гончаров, 1952: 6]. И уже к концу пребывания в Нагасаки он пишет: «Трудно действовать по обыкновенным законам ума и логики там, где нет ключа к миросозерцанию, нравственности и нравам народа» [Гончаров, 1952: 123].

Общая картина Японии, где русских моряков ограничивали во всем и пускали на берег лишь под строгим контролем, у Гончарова крайне негативна. «Не скучно ли видеть столько залогов природных сил, богатства, всяких даров, в неискусных, или скорее несвободных, связанных какими-то ненужными путами руках» [Гончаров, 1952: 13].

Все оценки японцев проникнуты отношением сверху вниз. Вот первая встреча с японскими переводчиками: «Мы... не могли воздержаться от улыбки, глядя на эти мягкие, гладкие, белые, изнеженные лица, лукавые и смысленные физиономии, на косички и на приседанья» [Гончаров, 1952: 9]. Постоянно сравнение взрослых японцев с детьми. При осмотре «Паллады» «всё занимало их, и в этом любопытстве было много наивного, детского» [Гончаров, 1952: 19]. Когда японские чиновники всерьез были озабочены тем, как кого сажать на переговорах, Гончаров восклицает: «Вот что значит запереться от всех: незаметно в дет-

ство впадешь» [Гончаров, 1952: 32]. Когда один из японцев увидел на «Палладе» «ящик с музыкой», «он смотрел по-детски, и очень глупо, на движение вала» [Гончаров, 1952: 65]. У японцев, по мнению Гончарова, «не видно почти ни одной мужественной, энергической физиономии, хотя умных и лукавых много» [Гончаров, 1952: 19–20]. В то же время он замечает: «Этот народ, если не сравнивать с европейцами, довольно развитой, развязный, приятный в обращении и до крайности занимательный своеобразностью воспитания» [Гончаров, 1952: 17-18]; «Японцы очень живы и натуральны... Они всё выведывают, обо всём расспрашивают и всё записывают» [Гончаров, 1952: 42]. Но это опять-таки живость и любознательность смысленных детей, желающих повзрослеть.

Гончаров лишь изредка может найти сходства японских обычаев с русскими, но они связываются только с «азиатским» прошлым России. Увидев, как японцы более высокого ранга кидают подачки слугам, он пишет: «Давно ли Грибоедов посмеялся, в своей комедии, над «подачками»? В эпоху нашего младенчества из азиатской колыбели попало в наше воспитание несколько замашек и обычаев, и теперь еще не совсем изгладившихся, особенно в простом быту» [Гончаров, 1952: 153]. Общий вывод: «Младенческий, отсталый, но лукавый народ» [Гончаров, 1952: 123].

В то же время писатель понимал, что такая ситуация не может продолжаться вечно. «Какая бы, кажется, могла быть надежда на торговлю, на введение христианства, на просвещение, когда так глухо заперто здание и ключа потерян? Когда и когда придет всё это? А придет, нет сомнения, хотя и не скоро» [Гончаров, 1952: 141]. По его мнению, японцы «видят, что их система замкнутости и отчуждения, в которой одной они искали спасения, их ничему не научила, а только остановила их рост. Она, как школьная затея, мгновенно рушилась при появлении учителя. Они одни, без помощи; им ничего больше не остается, как удариться в слезы и сказать: «Виноваты, мы дети!» и, как детям, отдаться под руководство старших» [Гончаров, 1952: 40]. В этих словах видно всё то же отношение к японцам как к детям, но в них отразилась и реальная ситуация Японии той переломной эпохи.

Один раз Гончаров в разговоре с русскими спутниками даже размечтался: «А что, если бы у японцев взять Нагасаки?.. Они пользоваться не умеют..., что было бы здесь, если б этим портом владели другие? Посмотрите, какие места. Весь восточный океан оживился бы торговлей» [Гончаров, 1952: 35]. Но он сам

не смотрел на такие планы всерьез. И вполне в соответствии с реальностью он писал о японцах: «А уж, конечно, они убедились, особенно в новое время, что если пустить иностранцев, так от них многому бы можно научиться: жить получше, быть посведущее во всём, сильнее, богаче» [Гончаров, 1952: 38]. «Кликни только клич, – и японцы толпой вырвутся из ворот своей тюрьмы» [Гончаров, 1952: 41]. В то же время он считал, что «если и Японии суждено отворить настежь ворота перед иностранцами, то... разве принудят ее к тому войной... В настоящую минуту можно и ее отпереть разом: она так слаба, что никакой войны не выдержит» [Гончаров, 1952: 143]. В другом месте: «А нечего делать японцам против кораблей: у них, кроме лодок, ничего нет» [Гончаров, 1952: 42]. Гончаров надеялся, что, может быть, Японию «отопрет» Россия, но он отмечал и активность «хитрых, неутомонных промышленников, американцев» [Гончаров, 1952: 40]. Уже в конце пребывания миссии Путятина в Нагасаки стало известно, что «японцы открыли три порта для американцев» [Гончаров, 1952: 157]. Когда записки в 1855–1857 гг. публиковались в России, Япония была окончательно «отперта».

В основном прогнозы Гончарова сбылись гораздо быстрее, чем это ему представлялось. Не сбился лишь один прогноз: просвещение «детей» для него было неотделимо от обращения их в христианство. В Японии последнего так и не произошло.

Гончаров старался внимательно фиксировать всё, что он видел, он также знакомился с существовавшими западными описаниями Японии. Однако уровень знаний тогда был крайне низок, и в его записках мы находим грубейшие ошибки вроде того, что язык пришел в Японию из Китая, а синтоизм – общая для Китая и Японии религия. В то же время атмосфера последних лет эпохи Токугава, боязнь иностранцев и одновременно интерес к их достижениям у Гончарова переданы.

После «открытия» Японии в России появляются первые специалисты по этой стране, первоначально самоучки, как спутник Гончарова И.А. Гошкевич и несколько позже автор первой русской грамматики японского языка иеромонах (затем оставивший монашество) Д.Д. Смирнов. Вслед за И.А. Гончаровым Японию посещали и другие путешественники, в том числе среди литераторов. Из них выделим не столь крупного, как Гончаров, но всё же известного при жизни и не забытого до сих пор писателя Всеволода Владимировича Крестовского (1840–1895). Он посетил Япо-

нию в 1880–1881 гг. в качестве секретаря при начальнике русских морских сил на Тихом океане адмирале С.С. Лесовском, возглавлявшем русскую эскадру. Его обширные записки о Японии и других странах Востока, несколько раз издававшиеся в XIX в., были совсем недавно переизданы в связи с поднявшимся интересом к наследию Крестовского, автора авантюрного романа «Петербургские трущобы» и нескольких антиреволюционных сочинений.

Записки Крестовского отличаются от записок Гончарова (помимо разного литературного уровня) двумя существенными обстоятельствами. Если Гончаров, несмотря на официальный статус во время поездки, пишет как частное лицо, то Крестовский, выполнявший сходные функции, всё время ощущает себя состоящим на службе и исходящим из государственных интересов Российской империи. Постоянны у него отрицательные оценки западных держав, конкурировавших с Россией, и рассуждения об интересах России в Японии. И сама Япония сильно изменилась со времен ее посещения Гончаровым. В 1867–1868 гг. изменился общественный строй, шли развитие капитализма и активная европеизация всех сфер жизни. Всё это фиксируется у Крестовского.

Автор записок – весьма дотошный наблюдатель. В связи с изменившейся ситуацией ему в отличие от Гончарова удалось увидеть довольно много и побывать в различных частях Японии. И всё в чужой и экзотической стране ему хотелось подробно зафиксировать. Например, он очень интересовался японской речью и старался записывать чуть ли не каждое встреченное им японское слово. Не имея никакого понятия о японском языке, он был неплохим наблюдателем, и его транскрипции довольно точны для человека, не владеющего языком. Например, название одного из главных японских островов, тогда в России писавшееся Киу-Сиу, он передает: «Киу-Сиу, или, правильнее, Кю-сю» [Крестовский, 1997: 6]; так (исключая дефис) его передают и в наши дни. Но, разумеется, ухо его не раз подводило. Например, он фиксирует в южной части Токио «лесистые холмы Шибя и Сибя» [Крестовский, 1997: 149], хотя это – один холм, название которого носитель русского языка может воспринять и тем, и иным образом. Нередко он что-то понимал неправильно, но включал это в свою книгу без попыток консультироваться со специалистами. За такие ошибки его сурово критиковал знавший японский язык Д.Д. Смирнов. Вся вводная часть его грамматики [Смирнов, 1890] посвящена разбору ошибок Крестовского и других авторов.

Приведем лишь один пример. Только что приехав в Японию, Крестовский столкнулся с рикшами, тогда там многочисленными. Он решил, что они по-японски называются *курума*, а затем дает этимологию этого слова: *курума* будто бы значит «это – лошадь»; далее идут рассуждения о том, что японцы не считают рикш за людей и приравнивают к лошадям [Крестовский, 1997: 20]. Смирнов справедливо указывал, что *курума* – это повозка, а вовсе не человек, приводящий ее в движение; *это* по-японски не *куру*, а *корэ*, и, следовательно, все рассуждения бойкого автора неосновательны. Тем не менее, многое у Крестовского можно рассматривать вполне всерьез.

Его отношение к японцам, разумеется, уже не могло быть таким, как у Гончарова: этот народ уже вышел из «детского» состояния и приобщился к благам цивилизации. Много говорится об успехах индустрии, о развитии армии и флота. Особо отмечено, что «японцы до страсти любят учиться, особенно по-европейски» [Крестовский, 1997: 161].

В то же время и общий подход по сравнению с Гончаровым иной. Во «Фрегате «Паллада»» противопоставлены отсталая Азия и передовая Европа, а будущая европеизация Японии рассматривается исключительно как движение вперед. Записки же Крестовского проникнуты раздражением по отношению к «разным западноевропейским «друзьям-коллегам». Эти «друзья» «всегда готовы учинить вам какую-нибудь подпольную каверзу – не вам лично, положим, а тому делу, которому вы служите, ради которого вы сюда посланы» [Крестовский, 1997: 13]. Он подчеркивает, что Япония сталкивается не с лучшей частью европейцев: здесь, как и вообще на Востоке, европейцы – «почти только жадная сволочь и подлое отребье»; у них господствует «похоть к доллару – и только к доллару, этому их всемогущему и всепокоряющему идолу» [Крестовский, 1997: 117]. Он понимает, «почему все без исключения коренные обитатели Востока так ненавидят и презирают в душе европейцев» [Крестовский, 1997: 117]. И при переезде из европейской в японскую часть Иокогамы «на душе становится легко..., в нравственном смысле дышится свободнее» [Крестовский, 1997: 118].

Отношение же Крестовского к японцам отнюдь не враждебно: в японской толпе «вы положительно не встречаете угрюмых, недовольных или уныло озабоченных лиц, без которых в Европе не найдется ни одной улицы» [Крестовский, 1997: 25]. И, безус-

ловно, такие положительные оценки не связаны только с «успехами цивилизации». Наоборот, некоторые традиционные свойства японского общества, которые видел и резко негативно оценивал Гончаров, Крестовский оценивает совсем по-иному, например, большую роль церемониала и подчеркнутость иерархии в поведении. Он несколько удивлен тем, «сколько, однако, времени тратят эти добряки на выражение своих приветственных церемоний»; но тут же он восторгается японцами: «Насколько развиты в японском обществе чувство взаимного уважения и вместе с тем патриархальная почтительность к старшим по возрасту ли, по положению или по личным заслугам на каком бы то ни было честном поприще» [Крестовский, 1997: 25]. Для него это – черта «высокой, хотя и своеобразной цивилизации» [Крестовский, 1997: 25]. Тут, конечно, проявилось и различие взгляда двух писателей не только на Японию, но и на Россию. Если для либерала Гончарова чинопочитание и «патриархальная почтительность к старшим по положению» были признаками не преодоленной «азиатской колыбели», то для крайне правого к 80-м годам Крестовского они в порядке вещей. Если Гончаров мог находить в Японии сходство только с такими русскими обычаями, которых он стыдился, то Крестовский всё время ищет там параллели того, что он любит на родине, с радостью находя в Японии то ряженных, то крашенные яйца, то обычай отпускать птиц на волю. Он даже обнаружил в Японии цыган. Кого он за них принял?

Постоянно у Крестовского звучит мотив, немислимый у Гончарова: и Западу, и даже России можно чему-то у Японии поучиться. По поводу того, что японский слуга не взял на чай, он восклицает: «Какова черта народного характера, черта самолюбия и благородной гордости, сказавшаяся даже в такой мелочи! Какой бы это другой национальности трактирный слуга не принял от посетителя на водку!» [Крестовский, 1997: 112]. А вот описание новогоднего гулянья: «В такой огромной толпе целый день мы решительно нигде не видели никакой ссоры или драки, никакого буйства, ни малейшего безобразия, хотя весь народ ходил более или менее подгулявши» [Крестовский, 1997: 204]. Глядя на город Нагою сверху и видя, как всё ухожено до горизонта, Крестовский замечает: «Не японцам у европейцев, а этим последним не мешало бы поучиться у японцев, как обращаться с землей и разумно извлекать из нее всю возможную пользу» [Крестовский, 1997: 314]. Еще одна черта, явно одобренная борцом с «нигилизмом»

Крестовским: «Службою... не только в качестве чиновников, но просто хожалых, вроде наших городских, не гнушаются молодые люди даже из числа окончивших курс в Токийском университете» [Крестовский, 1997: 142]. Не так тогда было в России!

Перспектива полной европеизации страны, где живут «седая старина» и «почтенная древность» [Крестовский, 1997: 375], скорее пугает писателя. «Глядя на все эти «плоды европеизма», мне становится жаль эту покидаемую, вполне самобытную, долгими веками выработанную цивилизацию Великого Ниппона, которая во многом может потягаться с цивилизацией Европы; жаль этих самобытных черт и красок жизни, которые невольным образом должны будут стираться перед нивелирующим всё и вся европеизмом» [Крестовский, 1997: 272]. Таким образом, Гончаров и Крестовский одинаково считали, что полная европеизация Японии неизбежна и представляет собой лишь вопрос времени. Однако оценки этого были противоположны.

Крестовский не претендовал на то, что ему всё понятно в японской культуре. Многие он описывает с юмором, кое-что явно не принимает. Например, он не мог понять японскую музыку, а звуки сямисэна, по его мнению, «очень напоминают отрывистый собачий лай» [Крестовский, 1997: 49]. Представление в японском театре показалось Крестовскому «варварским», но в то же время и «хватаящим за самые чувствительные струны сердца» [Крестовский, 1997: 245].

Лишь в одном отношении Крестовский абсолютно не принимает японские традиции: в отношении религии. Он одобряет японскую веротерпимость, позволяющую теперь пропагандировать христианство, но сам отнюдь веротерпимостью не страдает. Если дворец императора в Киото, сохранивший свой облик с X века, вызывает у него почтение, то статуи в буддийских храмах для него – лишь «идолы» и «истуканы», а один из токийских буддийских храмов он именует «пребезобразным». Как и Гончаров, он не сомневается в скорой христианизации Японии: «Все признаки говорят за то, что Япония готова принять свет евангельской истины... Япония... идет навстречу христианству, и она будет христианскою. Раньше или позже свершится это событие, но оно совершится наверное» [Крестовский, 1997: 162–163]. Крестовский надеется, что там победит православие, хотя допускает и возможность обращения японцев в другие направления христианства.

Отмечает он и другие теневые стороны японской жизни, в том числе бедность и тяжелый труд. Он упоминает, что труд в Японии дешев, «ни во что не ценится не только предпринимателями, но и самим трудящимся людом» [Крестовский, 1997: 212]. Говорится и о том, что в годы европеизации народ еще больше обеднел, поскольку реформы требуют больших налогов. Однако даже и здесь он одобряет японские традиции, явно отдавая им преимущество по сравнению с русскими: «Трезво-трудова, опрятная бедность, при которой народ не опускает рук, не попрошайничает, не пьянствует, а только трудится больше, чем прежде, перенося с бодрим духом свой тяжелый экономический кризис» [Крестовский, 1997: 207].

Следует отметить, что в книге Крестовского уже отмечены довольно многие черты японцев, которые позднее стали общими местами в описаниях японского национального характера, но тогда еще звучавшие свежо и ново. Это и только что приведенные слова о трудолюбии и опрятности. Это и приводившиеся выше оценки толпы, где нет угрюмых лиц или любви японцев учиться у европейцев. Или такая фраза: «Японец чутко любит природу и в созерцании ее прелести ищет себе лучшего отдохновения» [Крестовский, 1997: 151].

В итоге Крестовский дает такую вполне оправдавшуюся в дальнейшем оценку действиям японцев: «Японцы и в деле промышленного производства, как и в деле военной, морской и медицинской техники, стремятся усвоить себе от европейских учителей только их основания и приемы, дабы затем сказать им «farewell» (прощай (англ.) – В.А.) и, давши полный «Abschid» (отставку (нем.) – В.А.) с приличным вознаграждением за труды, идти в дальнейшей практике уже собственными силами, вполне самостоятельно и не только независимо от европейцев, но даже в некоторый подрыв их знаниям, производительности и сбыту» [Крестовский, 1997: 382]. Напомним, что это начало 80-х гг. XIX в., когда Япония в основном еще была занята внутренними проблемами и не выступала как конкурент западных держав и России.

Крестовскому такая политика нравится до тех пор, пока она касается лишь Англии и других российских конкурентов. Передавая слова японских собеседников о желании Японии «освободить свое отечество от коммерческого гнета Англии», он пишет: «Дай Бог! Не могу не пожелать им от всей души полного успеха в этом направлении, как не могу не желать его и для России» [Крестовский, 1997: 383]. Но в то же время он недоволен тем, что в

военном отношении Япония ориентируется на Англию, Францию и США, в результате чего ее военное устройство «чересчур уже как-то цивильно» [Крестовский, 1997: 225–226]. По его мнению, в этих странах хороша военная техника, но в строевой части лучше было бы ориентироваться на Россию или хотя бы на Германию [Крестовский, 1997: 226].

Одобрение стремления Японии к полной независимости не мешает Крестовскому считать, что Россия может действовать по отношению к этой стране любыми методами. С одной стороны, он гордится тем, что русский народ в отношении Японии «пока еще не запятнал себя ни одним несправедливым и неблагоприятным поступком» [Крестовский, 1997: 228]. Но он же с сожалением пишет о том, что англичане за убийство английского купца сожгли японский город Кагосиму, тогда как русское правительство за убийство русских моряков ограничилось официальным сожалением. «С тех пор японцы англичан ненавидят, но уважают; нас же, пожалуй, и любят, но... уважают ли, пока еще не знаю» [Крестовский, 1997: 137]. Вряд ли Крестовский мог допустить возможность того, чтобы русская эскадра спалила английский портовый город: такой инцидент привел бы к мировой войне. А с японцами, по его мнению, так себя вести можно: они при всей своей «высокой цивилизации» – не ровня европейцам, прежде всего потому, что слабее.

Безусловно, Крестовский – наблюдательный и разумный путешественник, во многом видевший Японию непредвзято. Однако он не мог отрешиться ни от своих политических взглядов, ни от стереотипов эпохи.

Вплоть до начала XX в. изучение Японии в России (как и на Западе) отставало от других областей востоковедения. Меньше было традиций, к тому же научное востоковедение в то время очень было погружено в изучение древних культур и письменных памятников, а современностью занимались мало. Японоведение оставалось в основном практической дисциплиной, его представители были в основном не узкими специалистами, а «страноведами», понемногу занимавшимися всем: от природных условий до литературы. Их научный уровень не был особенно высок, хотя среди них попадались настоящие самородки вроде упоминавшегося Д.Д. Смирнова, автора очень интересной по своим идеям грамматики. Не так много было оригинальных работ, профессиональный уровень которых бывал очень разным. Больше выходило

переводов и компиляций западных работ, часто тоже невысокого качества, хотя бывали и переводы очень серьезных для своего времени сочинений вроде очерка японской литературы английского япониста У.Г. Астона. Обзор ряда публикаций тех лет см. [Ермакова, 2000].

В виде примера разберем три изданных в последнее десятилетие XIX в. или в первое десятилетие XX в. общих очерка о Японии. Они сходились по тематике, но различались научным уровнем, степенью оригинальности, адресованностью к более широкой или более специальной аудитории.

Верхний уровень – книга выдающегося русского антрополога, географа и этнографа Дмитрия Николаевича Анучина (1843–1923). Она была в основном написана еще до Русско-японской войны, публиковалась в журналах во время войны и сразу после нее (1904–1906) и вышла отдельным изданием в 1907 г. Это хороший для своего времени и вполне квалифицированный очерк географии, антропологии, этнографии, истории Японии (вопросы духовной культуры и языка не затрагиваются). Работа во многом компилятивна (нам неизвестно, был ли Анучин в Японии), но очень серьезна и написана для специалистов достаточно широкого профиля.

Для наших целей важны содержащиеся в книге общие оценки современного положения Японии, уже вышедшей на международную арену: «За пятьдесят лет Япония сделала, несомненно, гораздо большие успехи на этом направлении (европеизации – В.А.), чем, напр., Россия за 150 лет» [Анучин, 1907: 132]. Какая точка отсчета здесь принимается для России? От Петра до середины XIX в. или последние 150 лет перед изданием книги?

Далее Анучин пишет: «Как пойдет дальнейшее развитие Японии, неизвестно, но едва ли может подлежать сомнению, что этот деятельный народ еще заявит о себе как в истории Восточной Азии, так, может быть, и в исторических судьбах культурного человечества вообще» [Анучин, 1907: 132]. Причины этого автор видит в том, что японцы совмещают способность к усвоению европейской культуры с «чувством национального достоинства и гордости, с преданностью интересам родины и готовностью самопожертвования, с храбростью, терпением и выносливостью» [Анучин, 1907: 133]. Правда, пока что японцы не создали ничего великого в науке и искусстве (несомненно, имеется в виду лишь наука и искусство европейского типа), но в будущем можно от

столь быстро развивающегося народа ждать достижений и в этих областях. Картина очень оптимистична и подается без какой-либо критики.

Средний уровень – книга «Япония и японцы», изданная в 1901 г. «Новой библиотекой» журнала «Русская мысль», следовательно, рассчитанная на широкого интеллигентного читателя. Автор не обозначен; вероятно, мы имеем дело с компиляцией иностранных публикаций. Даются сведения о самом разном: о географическом положении, климате, антропологическом типе японцев, семейной жизни, питании и одежде, системе образования, религии, истории, литературе, промышленности и торговле и т.д. Всё это на менее чем двухстах страницах.

Наряду с достоверной информацией в книге содержится неполная или просто ошибочная. Например, раздел о климате более или менее точно описывает климат той части страны, которая обращена к Тихому океану, а о климате горной части и побережья Японского моря ни слова. О религии сказано: «Большая часть населения исповедует «синто», но случается даже и так, что один и тот же человек оказывается сразу и синтоистом, и буддистом» [Япония, 1901: 45], хотя такая ситуация касается подавляющего большинства японцев. Синтоизму приписывается запрещение «прикасаться к трупу, к больному человеку, к ране» [Япония, 1901: 63], что не соответствует действительности.

И совершенно фантастические сведения даны о японской письменности (о языке помимо письма не говорится вообще). Сказано об изобретении японской азбуки – катаканы, затем говорится, что не у всякого хватало терпения ее учить, поэтому изобрели другую азбуку – хирагану (хотя она вовсе не проще катаканы и изобретена примерно в то же время). Далее говорится уже нечто невообразимое о современности: «Теперь на ката-кана пишут мужчины, а хира-кана пользуются женщины. Китайское же письмо (иероглифы – В.А.) осталось только в ученых книгах и в тех деловых бумагах, которым хотят придать особую важность» [Япония, 1901: 60]. Впрочем, важную бумагу следует писать каким-то особым письмом «ямато-кана» (?) [Япония, 1901: 61]. Каждый, кто имеет самые элементарные представления о японском письме, знает, что и сейчас в любом тексте употребляется в разных функциях и иероглифы, и катакана, и хирагана (последняя считалась «женским письмом» около тысячи лет назад). В результате сложностей японского письма «обыкновенно большин-

ство учащихся довольствуются одной ката-кана» [Япония, 1901: 61]. А в Японии люди, знающие только катакану и/или хирагану, приравниваются к неграмотным. В этой же книге в соответствии с реальностью признается, что «неграмотных очень незначительное количество» [Япония, 1901: 67]. А в России 1901 года ситуация была намного хуже.

В книге нередко концы не сходятся с концами. То дается высокая оценка японского государства: «Государство всё же теперь всеми силами стремится поднять благосостояние земледельцев и уменьшить податные тягости» [Япония, 1901: 156]. Но затем говорится о жутких условиях труда рабочих, работающих по 17 (!) часов в день: «Ввиду такой продолжительности рабочего дня редко можно встретить рабочего старше тридцати лет, так как чрезмерное напряжение скоро убивает его или делает неспособным к работе» [Япония, 1901: 177]. Почему же власть, пекущаяся о благосостоянии земледельцев, не может хоть что-то сделать для хоть минимального облегчения труда рабочих?

В очерке, разумеется, японцы не характеризуются так, как у Гончарова. Говорится об «ослепляющей картине быстрого, почти сказочного развития всех промышленных сил молодой страны» [Япония, 1901: 178], о том, что «просвещение идет по хорошей дороге» [Япония, 1901: 72] и т.д. Но несколько покровительственное отношение к японцам заметно. Например, очерк литературы (стр.72–84) по существу сводится к фольклору, а кратко упоминаемая классическая поэзия подается тоже в фольклорном духе. Подчеркивается, что японцы любят сказки; что они «по природе чувствительны, склонны к мечтательности, к вере в сверхъестественное» [Япония, 1901: 51] (отсюда якобы в Японии распространен буддизм). До Порт-Артура оставалось три года, а до Цусимы – четыре.

Низший уровень – «чтение для народа» на шестнадцати страницах «Японцы», изданное в 1897 г. Здесь указана фамилия составителя: Ф.Ф. Пуцыкович. Книга по жанру аналогична предыдущей, только значительно короче и проще по изложению. Некоторыми местами она очень напоминает предыдущую, появившуюся немного позже (особенно в описании природы и антропологии японцев); создается впечатление, что они опирались на какой-то общий источник. Впрочем, кое-что различается, в том числе и ошибки. Например, распространенными в Японии религиями названы буддизм и христианство, а синтоизм, види-

мо, составителю не известен. Иногда расхождения бывают даже в выгодную для Пущыковича сторону: он по крайней мере знает, что современные японцы пишут китайскими иероглифами. И не к Крестовскому ли восходит эпитет рикш «люди-лошади»? Впрочем, отмечено, что в стране сплошной грамотности даже бесправные «люди-лошади» в ожидании седоков читают книги и газеты [Японцы, 1897: 14].

В этой брошюре еще в большей степени, чем в предыдущей, виден взгляд на японцев сверху вниз. Вот такие слова: «Европейцам просто удивительно смотреть, как эти маленькие люди по целым часам без усталости идут с большими тяжестями, не останавливаясь и не отдыхая» [Японцы, 1897: 9]. Или: «они всегда и всем довольны, с необычайным терпением переносят невзгоды, на всё смотрят весело и никогда не ропщут» [Японцы, 1897: 13]. Так вряд ли бы написали в те годы о каком-нибудь европейском народе. Отмечено, что японцы увеселениям «предаются с увлечением, как дети», и также упоминается, что они «большие охотники также слушать различные сказки» [Японцы, 1897: 12]. Но (чего нет в библиотеке «Русской мысли» и, разумеется, у Анучина) перечислены и «дурные черты японского характера: притворство, коварство и мстительность» [Японцы, 1897: 13].

Разумеется, в брошюре много говорится и о том, что японцы «переняли у европейцев много хорошего» [Японцы, 1897: 16], о развитии промышленности и торговли. Общий вывод: «Способный, трудолюбивый и в высшей степени деятельный японский народ быстро идет по пути усовершенствования и не сегодня – завтра, вероятно, займет почетное место среди самых образованных народов на Земле» [Японцы, 1897: 16].

Такой вывод был обычен в те годы. Все отдавали должное развитию японцев, выделяли их среди других азиатских народов, но не допускали и мысли, что они могут конкурировать с Россией. А две последние книги уже упоминают о захвате Формозы (Тайваня), которая в брошюре «Японцы» просто включается в число пяти (!) главных японских островов. Объем знаний был скуден, особенно об экономике и культуре, почти никто не владел японским языком. Представления о Японии и японцах (исключая, может быть, вполне добротные географические сведения) в целом вписывались в европейские стандарты представлений о стране Фудзиямы, гейш и рикш. Отношение к Японии было тогда вполне благожелательным, на японцев смотрели уже не (в духе Гончаро-

ва) как на смысленных, но лишенных элементарного образования маленьких детей, а как на примерных школьниках, осваивающих мировую, то есть европейскую культуру.

Менее доброжелательный, но тоже высокомерный взгляд на Японию был свойствен Николаю II и его окружению, что способствовало началу Русско-японской войны. Об этом писал С.Ю. Витте: «Государь был, конечно, глубочайше уверен, что Япония, хотя, может быть, с некоторыми усилиями, будет разбита вдребезги. В первое время обыкновенное выражение его (о японцах – В.А.) в резолюциях было «эти макаки». Затем это название начали употреблять так называемые патриотические газеты, которые, в сущности, и содержались на казенные деньги» [Витте, 1960: 292]. Вспомним и лозунг «патриотических газет» в начале той войны: «Шапками закидаем», в итоге получивший в русском языке совсем иное значение, чем было до того.

Одной из причин поражения России в войне (не единственной, но, безусловно, важной) стало почти полное незнание Японии. И именно после этого русское японоведение стало активно развиваться. В первые годы после окончания войны на китайско-японском разряде (отделении) восточного факультета Петербургского университета (где тогда среди преподавателей не было сильных японистов) начали учиться Н.И. Конрад, Н.А. Невский, О.О. Розенберг, М.Н. Рамминг, братья Орест и Олег Плетнеры; они же изучали одновременно современный японский язык в Практической восточной академии. В той же академии учился студент историко-филологического факультета Е.Д. Поливанов. Первым иностранцем, окончившим курс в Императорском университете в Токио, стал С.Г. Елисеев. Это была блестящая плеяда ученых, которые затем внесли большой вклад в становление японистики не только в нашей стране, но и в Германии, Франции, США. Как говорил студентам Н.И. Конрад, именно поражение России в войне с Японией заставило его и его товарищей обратить внимание на эту страну.

В расширении знаний о Японии уже в предреволюционные годы играли роль не только сочинения ученых старшего поколения вроде Д.Н. Анучина, часто не бывших профессиональными японистами. Появляются первые работы молодых исследователей, отличавшиеся высоким научным уровнем. Они уже не придерживались взгляда их старших коллег, согласно которому востоковед должен изучать древнюю культуру, а не современность.

Японисты младшего поколения, большинство из которых стажировалось в Японии, посвятили свои первые работы изучению современных проблем.

В качестве примера рассмотрим раннюю работу будущего академика Н.И. Конрада (1891–1970) «Современная начальная школа в Японии», опубликованную в 1913 г. в нескольких номерах «Журнала Министерства народного просвещения» и с тех пор не переиздававшуюся. Эта первая его работа (единственная значительная публикация до 1921 г.) оказалась как бы в тени более поздних трудов ученого. Однако она очень интересна и богата информацией. Она основана на полевых исследованиях автора, получившего трехмесячную командировку в Японию специально по этой теме.

Оценка японской системы образования у Конрада далеко не однозначна. С одной стороны, им отмечены значительные достижения Японии в этой области, достигнутые лишь за четыре десятилетия (всеобщая система начального образования в Японии была создана лишь в 70-е годы XIX в.). «До переворота Мейдзи ум японца ограничивался исключительно сферой «бусидо». Этика и литература были единственными почти областями, в которых вращалась его мысль. Эпоха Мейдзи чрезвычайно расширила этот кругозор, направив внимание народа на самые разнообразные отрасли знания» [Конрад, 1913: 8, 197]. Отмечено, что к 10-м годам XX в. в Японии было 98% грамотных и все они умеют пользоваться своей грамотностью на практике [Конрад, 1913: 9, 39]. В России и тогда до этого было слишком далеко. Молодой ученый пишет, что программа японской начальной школы «на первый взгляд... представляется безукоризненной и составленной так, что не остается желать ничего лучшего» [Конрад, 1913: 10, 169], что в Японии «чужое здание приспособили к национальному фундаменту» очень успешно [Конрад, 1913: 10, 170].

Особо отмечены японские успехи в преподавании общенационального языка и письменности. Достижимое через школу «установление непрерывной связи между отдельными местностями общим языком – есть второй важнейший фактор удивительной сплоченности японцев» [Конрад, 1913: 9, 33] (первый фактор – пропаганда национальной морали, о которой ниже). Конрад, как и большинство его современников в России и на Западе, признает, что «иероглифическая письменность представляет слишком большие затруднения», однако пишет: «В силу же того, что подбор знаков сделан очень тщательно... японец, окончивший на-

чальную школу, не встанет в тупик почти никогда. Именно эта жизненность и практичность, полное соответствие с действительной и постоянной необходимостью и составляет характерную черту обучения иероглифической письменности в начальной школе» [Конрад, 1913: 9, 32].

Сам облик японской школы явно симпатичен автору исследования: «В больших городах начальные школы – огромные, частью каменные здания с массой свежего воздуха. В деревнях же школа обычно – самое лучшее здание» [Конрад, 1913: 8, 177]. Упомянута и «полная чистота» в школах [Конрад, 1913: 8, 178]. И тут чувствуется скрытое сопоставление с родиной, где редко приходские школы и народные училища бывали лучшими сооружениями.

Конрад подчеркивает центральную роль преподавания морали в японской школе (ср. его приводившиеся слова о роли этики в старой Японии). В этом, по его мнению, есть и положительная сторона: «Воспитание на единых повсюду принципах нравования, создающей общность мировоззрения общей массы, – а затем сглаживание другого обособляющего элемента – разницы в наречии – вот те заслуги, которые приносят народные школы общему делу государства, заслуги, которые поистине надо ценить в первую голову» [Конрад, 1913: 9, 33–34].

Однако многое именно в нравственном воспитании неприемлемо для Конрада, русского либерального интеллигента (в письмах вплоть до лета 1917 г. он упоминает о своих симпатиях к кадетам). «То обстоятельство, что начала нравственного учения определяются не религией, не этической системой, а императорским манифестом, с трудом поддается пониманию иностранца, но для японца это почти само собой разумеется, нисколько не удивительно, не странно» [Конрад, 1913: 9, 1]. Не одобряет ученый и дух милитаризма: «Эта идея величия, важности и почетности военной службы, унаследованная от времен старой Японии... идет в сильной степени вразрез со взглядами Европы» [Конрад, 1913: 9, 37]. Еще одна явно не одобряемая черта – «национализм»: «В центре всего обучения начальной школы стоит родина – Япония, а весь внешний мир рассматривается лишь постольку, поскольку имеет к ней отношение» [Конрад, 1913: 8, 134].

Подчеркивается, что многие черты такого рода восходят к старой Японии, а то и к глубокой древности: от европеизации «культ предков... ничуть не пострадал» [Конрад, 1913: 9, 8]. То же относится и к культуре императора. Более того, «по всей вероятности, в

будущем, как бы ни развивалась Япония, какими бы путями она ни шла, это одно чувство останется по-прежнему неизменным» [Конрад, 1913: 9, 3].

Общий вывод ученого, достаточно любопытный, также содержит двойственность: «Вся система доведена до такого однообразия, что положительно можно сказать, что именно в данный момент, т.е. день и час, говорится во всех школах по данному предмету учителями в классе. Происходит, в сущности, не что иное, как последовательное отливание всех японцев в одну и ту же строго выработанную форму, снабжение их одним и тем же мирозерцанием и одними и теми же мыслями, чувствами, привычками, вкусами и пр. ...Всё остальное приносится в жертву этому принципу однообразия, создающему, с одной стороны, удивительную монолитность народа, с другой же – делающему одного японца в значительной степени похожим на другого» [Конрад, 1913: 10, 183]. Такая система одновременно и восхищает, и пугает автора исследования, сторонника «идей народовластия и свободы, стремления к представительному строю» [Конрад, 1913: 8, 169].

В целом можно видеть, что Конраду нравится в японской школе то новое, что появилось там под европейским влиянием, и не нравится то, что осталось от Японии до 1868 года. Однако совсем иначе он относился к такому компоненту традиционной культуры, как религия. У него совершенно нет стремления обратить японцев в христианство, что казалось необходимым Гончарову и Крестовскому. Наоборот, Конрад, безусловно, верующий человек, подчеркивает: «Если брать буддизм как единое цельное явление, то между его добродетелью и добродетелью христианства, в сущности, слишком огромной разницы не найдется. И в том, и в другом вероучении главную роль играет чувство, милосердие, сострадание и любовь» [Конрад, 1913: 8, 139-140]. И отношение к традиционной японской культуре у Конрада дифференцировано.

Но это – уровень «высокой» науки, шагнувшей вперед. На «низовом» уровне тех лет заметно ухудшение отношения к бывшим «макакам». Им скорее сочувствовали, пока их не воспринимали всерьез и считали детьми. Но когда они победили Россию, то появилась и антияпонская пропаганда, ранее не игравшая существенной роли. Лишь попутно упомянутые в «чтении для народа» 1897 г. «притворство, коварство и мстительность» японцев теперь начинают подчеркиваться в газетной и журнальной информации.

В целом, несмотря на ряд уже имевшихся серьезных работ, о Японии и спустя десять лет по окончании Русско–японской войны у нас знали недостаточно. С.Г. Елисеев лишь ненамного сгущал краски, когда писал уже в 1920 г. о русских представлениях о Японии: «Соседи с ней, мы не знали ее до войны, нам был неизвестен ее национальный лик, мы проходили мимо ее духовных богатств. Но можем ли мы сказать, что мы ее знаем теперь, после жестокого урока 1905 года? Мы по-прежнему остаемся в неведении и довольствуемся немногими компиляциями, составленными по европейским книгам и всегда полными ошибок» [Елисеев, 1920: 45]. Заложенная в предреволюционное десятилетие основа для дальнейшего развития японистики не сразу сказалась в публикациях. Рассмотренная выше работа Конрада и цикл публикаций Е.Д. Поливанова о японских диалектах – почти всё, что японисты нового поколения успели тогда издать.

Но вот наступил 1917 год. Всё в России изменилось. Обстоятельства первых послереволюционных лет не особенно способствовали развитию знаний о Японии. Тем не менее, именно в эти годы новое поколение японистов начинает активно действовать. Тяжелое в материальном отношении время стало временем обширных просветительских планов и гигантских начинаний.

В 1918 г. при Наркомпросе по инициативе М. Горького было создано издательство «Всемирная литература», поставившее перед собой задачу знакомства широкого читателя со всем богатством мировой литературы, в том числе восточной. Программа издательства была исключительно обширной, ее японскую часть составлял выдающийся специалист С.Г. Елисеев (1889–1975). Она предусматривала, как писал Елисеев, знакомство русского читателя с лучшими произведениями всей (!) японской литературы от древности до современности [Елисеев, 1920: 39]. План был исключительно смелым, поскольку к тому времени сколько-нибудь серьезной традиции перевода художественной литературы с японского языка на русский не существовало. До революции переводы японской литературы были эпизодическими и в основном осуществлялись не прямо с оригинала, а через западные языки. И сам отбор литературы, на наш взгляд, отражал отмеченный нами выше взгляд на японцев сверху вниз: более всего издавался японский фольклор, особенно сказки, а авторской литературе, древней и современной, внимания не уделялось.

Вряд ли поставленная Елисеевым задача была реальной даже для более благоприятной обстановки. Сам он писал: «Людей, занимающихся серьезно японским языком, на всю Россию меньше десяти человек» [Елисеев, 1920: 45]. При гораздо большем числе специалистов она полностью не решена даже сейчас. Однако один результат был: это очень содержательный очерк японской литературы С.Г. Елисеева для изданного «Всемирной литературой» сборника [Елисеев, 1920]. Как указывает современный исследователь, «в некотором смысле нам и теперь нечего поставить рядом с этим сочинением: краткая история японской литературы С.Г. Елисеева с тех пор так и осталась единственной работой монографического жанра, описывающей японскую литературу со времени ее возникновения вплоть до начала XX в.» [Ермакова, 2000: 56].

Л.М. Ермакова также подчеркивает и принципиальное отличие подхода Елисеева от своих предшественников, не только русских, но и западных. Если последние, «несмотря на явную любовь к избранному предмету, всё же порой (быть может, вполне неумышленно) переходили на снисходительно-оценочный тон», то Елисеев «прежде всего, утверждал принципиальное равноправие культур в мировой истории» [Ермакова, 2000: 58]. В работе много говорится о специфически японском взгляде на мир, об отличии его от европейского взгляда, причем оба взгляда признаются равноправными. Вот лишь один пример. Елисеев пишет, что глаза японца «видят многое такое, мимо чего мы проходим, не обращая внимания: краски им воспринимаются в других соотношениях... Другие образы, иные сравнения, которые нам или мало говорят, или поражают своей необычностью, тогда как дальневосточному читателю они иногда могут показаться почти банальными» [Елисеев, 1920: 44].

Отметим еще две черты подхода Елисеева. У него японская литература впервые в русской науке стала авторской. До того уже были известны некоторые произведения, но они подавались так, как подается фольклор; Елисеев впервые говорил и о том, кто создавал те или иные сочинения. Другим важным шагом вперед стало то, что в полной мере учитывалась и современная, уже во многом европеизированная литература. Традиционное русское востоковедение игнорировало современную ему духовную культуру Востока, однако для Японии такой подход был особенно явно неверен. Елисеев, во время обучения в Императорском университете в Токио познакомившийся с видными японскими писателями и их произведениями, начал знакомить русского читателя с японской

литературой последних десятилетий. Эта литература осваивала художественный опыт Запада (в том числе и России), сохраняя многие национальные традиции, на что также указывал Елисеев.

Но очерк стал единственной публикацией Елисеева на русском языке. В том же 1920 г. он эмигрировал (если Конрад лишь сочувствовал кадетам, а с 1917 г. стал сдвигаться влево, то Елисеев был членом кадетской партии и активно не принял новую власть). В дальнейшем он работал во Франции и США и сыграл важную роль в развитии японистики в этих странах. Однако традиция научного изучения Японии в нашей стране не прервалась, в чём велика заслуга Н.И. Конрада.

Из обширнейшей программы Елисеева один пункт все-таки реализовался: во «Всемирной литературе» в 1922 г. был издан японский памятник X в. «Исэ-моногатари» в переводе и с комментариями Конрада. В это же время он издал перевод и другого памятника (XIII в.) – «Записки из кельи». С этого же времени Конрад, а затем под его руководством его ученики, начинают переводить на русский язык многие произведения японской литературы разных эпох, включая современную. Школа Конрада (А.Е. Глушкина, Е.М. Жуков, Е.М. Колпакчи, Н.И. Фельдман, А.А. Холодович и др.) в своей совокупности охватывала многие стороны японистики: ее представители занимались и литературой, и театром, и языком, и историей.

В этот период были окончательно оставлены «экзотизм» и покровительственное отношение к японцам; уровень знаний о Японии, безусловно, возрос (парадоксальным образом это происходило как раз тогда, когда прямые контакты с Японией резко сократились). Помимо развития научных школ сказывалась и общественная обстановка. Во-первых, изучение Японии стимулировалось практическими потребностями, связанными как с деятельностью Коминтерна и других международных организаций, так и с оценкой с начала 30-х гг. Японии как вероятного противника в будущей войне. Во-вторых, после революции возросло стремление к просветительству, к распространению «вширь» всевозможных знаний, что проявилось еще в деятельности «Всемирной литературы». Например, в 1928 г. в СССР впервые приехал театр Кабуки, и целая серия статей Конрада в этом году была продиктована необходимостью объяснить не очень подготовленному советскому зрителю особенности этого театра. В-третьих, тогда в общественном сознании господствовали идеи о борьбе с «ев-

ропоцентризмом» и о ценности самых различных культур, в том числе культур «колониальных и угнетенных народов».

Такие идеи активно проповедовал Н.И. Конрад, всегда внимательный к веяниям эпохи. Особо четко он выразил их уже в 1935 г. во вступительной статье к ценной хрестоматии «Восток. Литература Китая и Японии», включавшей фрагменты из многих выдающихся произведений классической японской и китайской литературы. Он писал: «Эта литература имеет все права на то, чтобы существовать не только в своей родной языковой оболочке. Она может и должна выйти за пределы своей страны, своего круга читателей и занять место в нашем внимании... Феодальная литература Китая и Японии представляет собою явление первостепенного значения» [Конрад, 1935: 7]. Далее Конрад стремится сопоставить эту литературу со средневековой литературой Европы, выделяя сходные явления (героический эпос, рыцарский роман, интимная лирика, религиозная драма и др.) и различия. С одной стороны, в Китае или Японии нет аналога Данте. Но, с другой стороны, «полноценный художественный реалистический роман» существовал в Японии («Гэндзи-моногатари»), но не в Европе [Конрад, 1935: 9]. Вывод: «В Стране Советов нет места буржуазной ограниченности, которая ничего не хочет видеть, кроме Запада и античного мира. Мы хорошо сознаем, что культура человечества слагается не на одном Западе... Научно изучать общие проблемы феодальной литературы без Востока невозможно. Пусть, наконец, в общий ряд принимаемого нами и критически усвояемого наследия вступят и великие произведения Востока. Обстановка для этого у нас создана» [Конрад, 1935: 12]. В данном пункте советская идеология 20–30-х гг. и передовые идеи науки тех лет совпадали.

Но кроме классического японского наследия, которое именно в советское время у нас по-настоящему впервые узнали, была и современная Япония. А в ней отмечавшиеся Н.И. Конрадом в 1913 г. национализм, милитаризм, культ императора еще многократно усилились. Захватнические устремления японской власти не могли не вызывать тревогу. И, разумеется, сказывалось враждебное отношение Японии к СССР и коммунистическим идеям. И национальные, и идеологические противоречия между двумя государствами всё более углублялись. К этому добавлялись жестокие преследования японских коммунистов. Конечно, это сказывалось на образе Японии в нашей стране.

Не говорим о публикациях чисто пропагандистского характера. Но и такие специалисты, как Н.И. Конрад или Е.Д. Поливанов, высказывались о современной Японии весьма жестко. Показательна эволюция взглядов Конрада по сравнению с ранней работой 1913 года. Еще дважды, в 1931 и 1934 гг., он писал о японском народном образовании. Фактическая сторона дела явно описывается на основе тех же впечатлений, полученных в юности. Но оценки из двойственных превращаются в жестко однозначные: «Японские авторы высоко ставят свою систему образования за ее кажущийся «демократизм»... Однако совершенно очевидно, что фактически огромное большинство населения принуждено пользоваться только начальной школой и в лучшем случае дополнительными классами к ней. Сколько-нибудь заметный процент трудящегося населения не может, конечно, пробиться до конца всей образовательной лестницы: до университета – четырнадцать лет школы» [Конрад, 1931: 684]. «Преподавание морали – это типичная буржуазная политграмма, насквозь пропитанная шовинизмом и пропагандой собственнической идеологии» [Конрад, 1931: 684]. В целом для всей системы японского образования характерны «резко выраженная ориентировка на внедрение буржуазной идеологии, национализма и шовинизма» [Конрад, 1931: 687].

И здесь, надо думать, в неявном виде проявлялось, как и во многих других случаях, сопоставление с родной страной. До революции японская система образования имела ряд явных преимуществ по сравнению с русской. В России при очень высоком уровне университетского и гимназического образования народная школа, особенно в деревне, не отличалась хорошим качеством, а значительная часть населения не получала образования вообще. На этом фоне работавшая, как часы, система всеобщего начального образования выглядела впечатляюще, хотя Конрада пугала стандартность японского образования, «отливавшего в одни и те же формы» всех людей. Конрад чувствовал, что более демократичная по сравнению с русской японская система обеспечивает более высокий средний уровень, но не способствует великим достижениям в науке и искусстве, которые ждал Д.Н. Анучин. Теперь в СССР в основном справились с неграмотностью, а система, по современной терминологии, «позитивной дискриминации», дававшая людям из «низов» привилегии при получении образования, выглядела более демократичной по сравнению с японской.

В обстановке, когда в Японии усиливались национализм и стремление ограничить европейское влияние, многовековые традиции оценивались лишь как помеха, как нечто, тянущее страну назад. Показательна статья Конрада, написанная под впечатлением его поездки в Японию в 1927 г., оказавшейся для него последней, хотя он прожил еще более сорока лет. Статья была опубликована в литературном журнале «Сибирские огни», будучи явно рассчитана на широкого читателя.

Конрад рисует облик Японии тех лет: «Европеизированный германской выучки японец и тут же крестьянин, живущий чуть ли не так же, как жили его предки в эпоху родового строя. Замысловатый автомобиль около полей и примитивная мотыга на полях... Два мира, несомненно, правда, исторически и всячески связанные друг с другом, но в последнее время разошедшиеся чрезвычайно. Такова новая Япония. Япония последних десятилетий, вся наполненная контрастами и, прежде всего, в области культуры... Культура техническая идет вперед быстрее шагами, культура же духовная (в широком смысле этого слова) в общем, как правило, плетется позади... Рядом друг с другом «Форд» и «Бедная Лиза», небоскреб и Загоскин» [Конрад, 1928: 177].

Как отмечено выше, Конрад весьма высоко оценивал японскую «феодалную» культуру, однако он считал в те годы ее лишь славным прошлым. Современная литература, как можно видеть из приведенной цитаты, ему кажется (исключая, разумеется, также упомянутую в статье пролетарскую литературу) крайне старомодной. Европеизация, пусть «германской выучки», явно рассматривается как шаг вперед. И этот подход нельзя объяснить только влиянием советской идеологии: как мы видели, и в 1913 г. ученый был склонен думать так же. Влияние этой идеологии у Конрада и других специалистов проявлялось в другом: они в те годы считали, что «феодалные пережитки» неустранимы, пока в стране не произойдет социалистическая революция. Здесь опять-таки Япония подверстывалась к России.

К числу архаических элементов японского общества причислялись иероглифическая письменность и проистекающее из характера письменности расхождение между устным и письменным вариантами языка. В Японии к тому времени существовало культурное движение «гэмбун-итти», добивавшееся сближения этих вариантов. По этому поводу наш крупнейший языковед-японист Е.Д. Поливанов (1891–1938) писал: «Для реализации программы

гэмбун-итти необходима социальная революция в Японии точно так же, как и для другого мероприятия по демократизации письменности – латинизации (или вообще фонетизации) яп[онской] графики. До этого и тот и другой процесс вынужден будет пребывать в стадии проектирования и в, лучшем случае, индивидуальных начинаний, – точно так же, как невозможно было реализовать ни реформу рус[ской] графики, ни рационализацию график наших нацменьшинств до революции 1917 года (и до Октября 1917 года на долю этих реформ приходилось точно также одно лишь «проектирование» будущих мероприятий)» [Поливанов, 1930: XII]. Отношение к иероглифам почти всех советских японистов (и китаистов) тех лет (редкое исключение среди японистов – К.А. Харнский) несколько напоминает отношение русских путешественников XIX в. к японской религии. Они относились к японскому письму резко отрицательно ввиду его сложности и архаичности и считали, что лишь «помещичья власть» его искусственно сохраняет; в будущем же неизбежна латинизация (Е.Д. Поливанов, впрочем, допускал и переход к какому-либо другому алфавиту, в том числе к кане). Впрочем, не любили тогда японское письмо и на Западе, а американская оккупационная администрация всерьез намеревалась его отменить, что, однако, не получилось.

При пристальном внимании к Японии всё меньшее число граждан СССР могло посещать эту страну. Если в 20-е гг. некоторые из наших специалистов по Японии всё же там бывали, то с начала 30-х гг. это стало невозможным почти для всех, кроме очень узкого круга дипломатов и разведчиков. Блестящее поколение японистов, сформировавшееся в 20–30-е гг. (школа Конрада была самой яркой, но не единственной: необходимо упомянуть и А.Л. Гальперина, и К.М. Попова, тоже имевших немало учеников), оказалось «книжным поколением». Лишь некоторые из его представителей смогли (как и Н.И. Конрад) побывать в Японии в 20-е гг., а потом они не были там никогда. Другие так и не увидели страну.

Неблагоприятная обстановка сказывалась и на количестве путевых очерков и заметок. В эти годы (и тем более в 40-е гг. и в первой половине 50-х гг.) их гораздо меньше, чем в дореволюционную эпоху и в СССР после 1956 г. Всё же кое-что появлялось. Выше уже упоминалась статья Н.И. Конрада в «Сибирских огнях». А из того, что было написано непрофессионалами, безусловно, выделяются две книги видного писателя

тех лет Бориса Андреевича Пильняка (1894-1938) [Пильняк, 1927; Пильняк, 1935]. Ему удалось дважды побывать в Японии: в 1926 и 1932 гг.

Соотношение двух книг несколько необычно с современной точки зрения, хотя в те годы такое было в порядке вещей. Во второй книге писатель заявляет: «Я прошу читателей выбросить с книжных полок 7-й том моего гизовского «Собрания сочинений»», где была издана первая книга, «прошу уничтожить ее японский перевод»; сделать это нужно «во имя уважения к японскому народу» [Пильняк, 1935: 60]. И не раз в этой книге приводятся уничтожающие характеристики первой книги, «лживой» и «неверной», недостойной советского писателя. Безусловно, на изменении взгляда автора сказались проработки, которым он подвергся в промежутке между выходом двух книг за издание одного из своих сочинений за рубежом. Пильняка много в те годы били и, хотя среди главных объектов критики не было, насколько нам известно, «Корней японского солнца», писатель очень хотел показать, что он «отмежевался» и «перестроился». Главный объект самокритики Пильняка – неучет в первой книге того, что «человечество на земном шаре – японцы, китайцы, англичане, американцы, немцы, афганцы – всё человечество развивается на основании одних и тех же социальных законов, вскрытых Марксом, – и история человечества идет одними и теми же ступенями... Читателю, прочитавшему в свое время Боборыкина, можно не читать Синклера Льюиса» [Пильняк, 1935: 38]. В первой же книге он, согласно более позднему мнению автора, слишком увлекся идеей о национальных отличиях японцев.

Впрочем, при всей резкости оценок в книге 1935 г. большое место (не менее трети общего объема) занимают цитаты из книги 1927 г. Иногда они как бы дезавуируются комментариями автора (но тогда зачем их приводить в таком количестве?), иногда (чем дальше, тем больше) просто приводятся без критики. Иногда говорится, что их «надо расценивать как фотографию, со всеми фотографическими недостатками» [Пильняк, 1935: 143]. Создается впечатление, что автор в душе согласен (хотя, вероятно, и не во всём) с тем, что писал раньше, но считает необходимым демонстрировать читателю классовую точку зрения. Однако из этого не следует, что не надо учитывать то новое, что содержится во второй книге по сравнению с первой, хотя первая книга по оценкам действительно интереснее. Во второй книге

Пильняк опирался на материал не одной, а двух поездок и описал то, что дополнительно увидел. Она где-то дополняет первую книгу, где-то ее уточняет. А с литературной точки зрения обе книги написаны равно ярко.

Первая книга писателя проникнута стремлением понять «душу» Японии, осмыслить с трудом понимаемую загадочную страну. Чуть ли не впервые после И.А. Гончарова автор подчеркивает эту загадочность и непонятность (ср. совершенно рациональный взгляд В.В. Крестовского). «Надо написать рассказ, как Япония – затянула, заманила, утопила, забучила иностранца, точно болото, точно леший, что ли: всем сердцем я хотел проникнуть в душу Японии, в ее быт и время, – я видел фантастику быта, будней, людей – и ничего не понимал, не мог понять и осмыслить, – и понимал, что вот эта страна, недоступная мне, меня засасывает, как болото, – тем ли, что у нее на самом деле есть большие тайны, – или тем, что я ломлюсь в открытые ворота, которые охраняются полицией именно потому, что они пусты» [Пильняк, 1927: 13]. Вспоминаются слова Гончарова о «потерянном ключе». Но, разумеется, в 20-е годы XX века невозможно было относиться к народу чужой культуры как к множеству детей.

Пильняк старается найти ключ к японской культуре, которая его одновременно притягивает и отталкивает. То ему хочется «по-японски думать и видеть» [Пильняк, 1927: 14]. Но тут же происходит те или иные события, после которых он «хотел только одного: скорее приехать в тот дом, который я считал своим, чтобы говорить по-русски и быть среди своих соотечественников», и думал о том, как Восток «выпирает, выталкивает из себя пробкою из квасной бутылки» [Пильняк, 1927: 16]. И не раз он пишет фразы вроде: «Всё это увязать так, чтобы концы вошли в концы, – я не могу» [Пильняк, 1927: 49].

Пильняк на основании, прежде всего, собственного опыта старается выявить основные свойства японского народа и их причины. В одном месте он осуждает концепцию О. Шпенглера о делении мира на обособленные цивилизации: «Япония – страна, лучше всего опровергающая теории Шпенглера, ибо эта страна существует уже тысячи лет» [Пильняк, 1927: 25]. Но всё же он всё время противопоставляет японское общество западному (лишь иногда дифференцируя последнее на европейское и американское и вовсе не выделяя как что-то особое русское общество). Он подчеркивает: «На глаз европейца, сына западной культуры,

вся страна, весь быт и обычаи японского народа построены по принципу – «наоборот», – наоборот тому, что принято в Европе» [Пильняк, 1927: 28].

В основе всего у Пильняка оказывается географический фактор, японская природа, которая отнюдь не восхищает, а, наоборот, пугает его. Глядя на Японию с самолета, он ужасается: «Черный злой камень», «страшной злобы, желтая земля» [Пильняк, 1927: 22]. Природа Японии – «нищая природа, жестокая природа, такая, которая дана человеку – на зло» [Пильняк, 1927: 62]. Много говорится о вулканах и землетрясениях. На основе всего этого сложились постоянные свойства японского общества.

Бессилие отдельного человека перед силами природы привело, по мнению писателя, к тому, что «Япония презирает боязнь индивидуальной смерти» [Пильняк, 1927: 29]. Произвели на него впечатление и слова японского профессора о том, что «забот о будущей жизни у японского народа – нет. Надо заботиться только о настоящем» [Пильняк, 1927: 45]. В связи со всем этим и с развитым в Японии культом предков Пильняк пришел к выводу: «Психика европейца основана на утверждении, строительстве будущего, японская психика – на утверждении прошлого... Страна, управляемая мертвецами» [Пильняк, 1927: 29]. Правда, остается не вполне ясным, как такая черта сочетается с неоднократно фиксируемой в книге активностью японцев.

Из-за природных условий, по мнению писателя, в Японии не развивалась материальная культура. «Япония – нищая страна, страна нищего камня, шалашей вместо жилищ, бобовых лепешек вместо хлеба, тряпок вместо одежды, деревяшек вместо обуви... Народ свел свои потребности к такому минимуму, от которого европейцы должныдохнуть» [Пильняк, 1927: 54]. Пильняк явно считает отсталыми чисто бытовые особенности традиционной культуры японцев.

Однако в такой отсталости быта он находит и положительную сторону: «Я вижу, как японский народ *освободился от вещей, освободился от зависимости перед вещью*» [Пильняк, 1927: 54]. «Известняки и склероз материальной культуры не связывали дух японского народа» [Пильняк, 1927: 68]. Этим Япония отличается и от Китая, и от США, где «колоссальная материальная культура, но культура духовная еще в пеленках» [Пильняк, 1927: 66].

Однако суровая природа (суровость которой Пильняк явно преувеличивает) закалила дух японцев. «Это только столетний,

громадный труд может так бороться с природой» [Пильняк, 1927: 61]. Писатель задает риторический вопрос: Что дало возможность Японии стать великой державой? И отвечает: «Вулканы» [Пильняк, 1927: 68].

По мнению Пильняка, благодаря такой закалке *«черепаха духовной культуры японского народа заползла далеко»* [Пильняк, 1927: 66]; эта духовная культура «крепка, выверена и сильна» [Пильняк, 1927: 67]. Как и многие другие авторы, писавшие о Японии, он отмечает сплошную грамотность японцев, развитие промышленности, науки и культуры, активное освоение западной цивилизации. Это освоение идет очень быстрыми шагами: Пильняк отмечает, что японцы пересели с рикши прямо на автомобиль, минуя стадию лошади [Пильняк, 1927: 76]. Особо он останавливается на интересе японцев к русской и советской культуре (значительном, несмотря на противодействие властей), подчеркивая: «Япония приветствует и изучает – не только Россию, но и весь мир» [Пильняк, 1927: 97].

В то же время Пильняк, как когда-то Крестовский, приходит к выводу о том, что японцы при внешней вежливости *«не уважают»* европейца, белого человека» [Пильняк, 1927: 82]; отмечает он и неуважение с обратной стороны. Европейский опыт японцам нужен для собственных целей, а не для сближения с миром. Впрочем, советский писатель склонен делать здесь исключение для СССР и советской культуры. Он подчеркивает, что его встречали не как Пильняка, а как «писателя новой России» [Пильняк, 1927: 94]. Он также пишет, что сейчас Япония более всего изучает Америку и Россию: «У Америки она хочет взять машины, у нас она хочет взять духовную культуру»; впрочем, «машинной и духовной культурами интересуются разные слои общества» [Пильняк, 1927: 97].

Пильняк не сомневается в том, что *«нищая Япония – очень сильна»* и сильна не только фабриками, но и книгами [Пильняк, 1927: 103]. Отмечает он и стремление власти к экспансии. По дороге в Японию он проезжал через Китай и видел, как он «весь прошит японцами» [Пильняк, 1927: 102].

Перспективы развития Японии Пильняк, безусловно, считает значительными, но оценки его двойственны. С одной стороны, он, явно стараясь поменьше говорить о политике, не может не возмущаться наглостью приставленных к нему полицейских и шпииков («никтошек», как он их называет); описанию их безобра-

зий посвящена немалая часть книги. Кстати, в 1932 г. «никтошки» докучали гораздо меньше. И возможные варианты развития событий его пугают: «Мне страшно представить японского солдата, который, по японскому принципу «наоборотности», бежит в атаку хохоча, похожий на японских чертоподобных богов» [Пильняк, 1927: 103].

С другой стороны, писатель старается сохранить исторический оптимизм: «Из всех стран, изборожденных мною, Япония больше всех сохранила свои национальные черты, и больше очень и очень многих стран, виденных и знаемых мною, Япония готова выйти из-за заборов национальной своей культуры на большую дорогу – культуры не национальной, а человеческой земного шара» [Пильняк, 1927: 105]. Первый вывод опирается на многие факты, приведенные в книге, а второй несколько повисает в воздухе (исключая, правда, довольно подробные данные об интересе в Японии к новой советской литературе).

Полагаясь, прежде всего, на собственные впечатления, Пильняк в то же время консультировался и с ведущими японистами, в том числе с профессором Е.Г. Спальвиным. К книге приложены «гlossы» профессионального япониста (и в то же время литератора) Р.Н. Кима, дополняющие некоторые места в книге с позиций специалиста. Во второй же книге Пильняк призывает посадить на скамью подсудимых вместе с собой и Спальвина (к 1935 г. уже покойного) и других ученых старой школы, «кроме этой Мурасаки Сикибу, ничего не знающих толком» [Пильняк, 1935: 60].

Во второй книге исправлены некоторые неточности первой. Например, в 1927 г. Пильняк повторил ошибку Крестовского, назвав рикш курума [Пильняк, 1927: 8]; теперь же неточность исправлена [Пильняк, 1935: 112]. Но исправляются и более существенные вещи в связи с общим изменением концепции. Вот, например, одно из мест, где Пильняк полемизирует с собой же прежним: «Японцы боятся смерти – так же, как и все остальные люди» [Пильняк, 1935: 80].

Очень показательное изменение отношения к иероглифам. В 1927 г. Пильняк восхищен ими. «Иероглифическая письменность совершенно не варварственна, как многие думают». Иероглифы «записывают понятия», а они у всех народов приблизительно одни и те же. Это – «изумительная грамота», которая «дает возможность обращаться с народами без знания языков» [Пильняк, 1927: 49-51]. Последнее утверждение, впрочем, явно

неверно и указывает на дилетантизм автора. Но в 1935 г. оценки прямо противоположны: «Долбежка иероглифов оставлена от средневековья... Дети обучаются иероглифам, чтобы обалдеть до Бусидо. Иероглифы оставлены, чтобы иностранцы меньше знали о Японии» [Пильняк, 1935: 79].

Писатель старается восполнить пробелы первой книги и побольше рассказать о политике и экономике страны, много приводя выписки из справочников, японских книг по экономике и др., пересказывая сюжеты художественных произведений. Свой визит он больше, чем в первой книге, старается описать на фоне общественных событий. Он оказался в Японии во время, например, неудачного переворота, предпринятого правыми, и убийства премьер-министра Инукаи, о чём рассказано довольно подробно. Интересны некоторые фрагменты, например, беседа с 84-летним бароном: «Я видел живого феодала, человека эпохи Мэйдзи» [Пильняк, 1935: 155]. С познавательной точки зрения книга, может быть, даже информативнее первой. Но концепция гораздо проще и прямолинейней.

Пильняк спорит с идеей о том, что Япония – древняя страна: «эпоха Мэйдзи – начало японской истории», до того была лишь доистория [Пильняк, 1935: 150]. Но и последующая история оценивается сурово. Неверно, что в 1868 г. в Японии произошла революция, а затем там установился капитализм: те события «были вызваны не внутренней перестройкой социальных сил, но пушками commodора Пирри (Перри – В.А.) и английскими торговцами» [Пильняк, 1935: 74–75]. «Власть осталась в руках феодалов и феодалных купцов» [Пильняк, 1935: 75]. В результате «императорско-феодалная Япония» «одной ногой стоит в средневековье», и даже пролетарская Япония «не может наполовину выкарабкаться из конца XVIII века» [Пильняк, 1935: 205–206]. Деревня остается полностью феодальной, а в культуре масса феодальных явлений вроде иероглифов.

В то же время Пильняк постоянно отмечает, что Япония, «конечно, проделала колоссальный путь» [Пильняк, 1935: 149], что ее американизация (не европеизация!) идет быстрыми темпами, что наблюдается «большой переход к лучшему будущему, расцвет, успех» [Пильняк, 1935: 150]. Американизация Японии имеет несомненные положительные стороны, а сохранение традиций только мешает. Опять «Форд» и «Бедная Лиза», хотя у Конрада подход не столь прямолинейен.

Кое-что Пильняк сохраняет от прежней концепции. Повторены оценки японской природы, по-прежнему говорится о том, что «жесткая природа, нищая природа научила трудиться» [Пильняк, 1935: 114]. А один из итоговых выводов первой книги, выше приведенный, повторен в новой редакции с сокращениями и с существенным добавлением в самом конце: «Из всех стран, виденных мною, Япония больше всего сохранила свою национальную культуру – и больше очень многих и многих стран Япония готова выйти из-за заборов национальной своей культуры на большую дорогу – культуры не национальной, а всечеловеческой, – а, стало быть, и социалистической» [Пильняк, 1935: 216].

Если в книге 1927 г. постоянно слова о непонимании чего-то, с чем писатель сталкивался в Японии, то теперь ему всё ясно, всё доступно объяснению. От спорных, но интересных попыток выявить особенности японского национального характера Пильняк (под влиянием, прежде всего, «внутреннего цензора») перешел к достаточно прямолинейной концепции: старая японская культура – зло, капитализация и американизация – относительный прогресс, социализм – избавление от всех бед. Если отвлечься от третьего члена противопоставления, то итоговая концепция Пильняка неожиданно похожа на «прогрессистскую» концепцию Гончарова, только в другую историческую эпоху.

Первая книга заканчивалась описанием полета Пильняка над Японией с летчиком Осима, которое завершалось словами: «С братом Осимой я полечу куда угодно». В 1935 г. автор перепечатал этот кусок книги с добавлением: «Пилот Осима разбился, упав с воздуха» [Пильняк, 1935: 224]. Скоро не стало и его спутника, которому не помогли попытки глядеть на Японию целиком с классовых позиций. Через три года после выхода второй книги о Японии Пильняк оказался «на дне оврага», как писала о нем А.Ахматова.

В то же время погибли многие наши крупные японисты: Е.Д. Поливанов, Н.А. Невский, Д.М. Позднеев и др., а Н.И. Конрад, три года пробывший в заключении, лишь чудом остался жив и вернулся к работе. Общественное отношение к Японии в нашей стране в предвоенные и военные годы определялось, прежде всего, ожиданием войны. Типична известная песня 1939 г. «Три танкиста» (стихи Б.С. Ласкина) со словами: «И летели на-земь самураи под напором стали и огня». Стало стереотипным (существовавшее и раньше) употребление слова «самурай» по отношению к любому японскому военному (офицеру или солдату),

хотя в Японии это слово перестало употребляться несколько веков назад, а самурайское сословие (называвшееся уже иначе) исчезло после 1868 года. Распространенные во время и после Русско-японской войны представления о «притворстве, коварстве и мстительности японцев» вновь стали массовыми. Впрочем, надо сказать, что японцы в те годы и особенно во время войны давали основание для таких мнений.

Следует, однако, отметить, что такого рода стереотипные суждения о японцах очень были распространены в нашей прессе в 1938–1939 гг., в дни Хасана и Халхин-Гола, а после заключения в апреле 1941 г. советско-японского пакта о нейтралитете тон всего, что писали о Японии, стал вплоть до августа 1945 г. весьма осторожным. Вот один пример: первая после выхода из тюрьмы публикация Н.И. Конрада «Чехов в Японии» (1944). Здесь 1941 г. для Японии назван «годом еще более напряженной обстановки», а про военные годы сказано: «Мы знаем, что в эти годы издательское дело в Японии сильно сократилось, выход новых книг был довольно затруднен. Тем более показательно, что для издания биографии Чехова нашлись и средства и возможности» [Конрад, 1944: 213].

С 1945 г. в Японии началась новая эпоха. Но оценка ее в СССР и России – уже тема другой статьи.

Список литературы

1. *Анучин*, 1907 – Анучин Д.Н. Япония и японцы. Географический, антропологический и этнографический очерк. М., 1907.
2. *Витте*, 1960 – Витте С.Ю. Воспоминания, т.2. М., 1960.
3. *Гончаров*, 1952 – Гончаров И.А. Собрание сочинений, т.6. М., 1952.
4. *Громковская*, 1991 – Громковская Л.Л. Сто первый взгляд на Японию. М., 1991.
5. *Елисеев*, 1920 – Елисеев С.Г. Японская литература. // Литература Востока. Сборник статей, вып.2. Пг., 1920.
6. *Ермакова*, 2000 – Ермакова Л.М. Очерк С.Г. Елисеева «Японская литература» в контексте предыстории и истории японской филологии в России. // С.Г.Елисеев и мировое японоведение. Материалы международной научной конференции. М., 2000.
7. *Конрад*, 1913 – Конрад Н.И. Современная начальная школа в Японии. // Журнал Министерства народного просвещения, 1913, № 8-10.
8. *Конрад*, 1928 – Конрад Н.И. По японской литературе. // Сибирские огни, 1928, № 3.
9. *Конрад*, 1931 – Конрад Н.И. Япония. Народное образование. // БСЭ, изд.1-е, т.65. М., 1931.
10. *Конрад*, 1935 – Конрад Н.И. Феодалная литература Китая и Японии. // Восток. Литература Китая и Японии. М., 1935.
11. *Конрад*, 1944 – Конрад Н.И. Чехов в Японии. // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1944, № 5.
12. *Крестовский*, 1997 – Крестовский В.В. В дальних водах и странах, книга вторая. М., 1997.

13. *Пильняк*, 1927 – Пильняк Бор. Корни японского солнца. Л., Прибой, 1927.

14. *Пильняк*, 1935 – Пильняк Бор. Камни и корни. М., Гослитиздат, 1935.

15. *Поливанов*, 1930 – Поливанов Е.Д. Введение. // Плетнер О.В., Поливанов Е.Д. Грамматика японского разговорного языка. М., 1930.

16. *Смирнов*, 1890 – Смирнов Д. Руководство к изучению японского языка. Спб., 1890.

17. *Файнберг*, 1959 – Файнберг Э.Я. Японцы в России в период самоизоляции Японии. // Япония. Вопросы истории. М., 1959.

18. *Япония*, 1901 – Япония и японцы. // Новая библиотека «Русской мысли». М., 1901.

19. *Японцы*, 1897 – Японцы. Чтение для народа. Составил Ф.Ф. Пущыкович. Спб., 1897.

Отделение историко-филологических наук

В.М. Алпатов

**Образ Японии в России
(1850-1945)**

Формат 60 x 84/16

Гарнитура Таймс

Усл. печ. л. 2,2. Усл. изд. л. 1,9

Тираж 20 экз.

Издатель – Российская академия наук

Подготовлено к печати

Управлением научно-издательской деятельности РАН

Отпечатано на оборудовании Управления делами РАН

Издано в авторской редакции

Издается в соответствии с распоряжением
президиума Российской академии наук
от 24 октября 2017 г. №10106-765,
распространяется бесплатно.